

ПОВЕСТЬ В 7 ГЛАВ И 4 АМИНЯ

ПРОСТИТЕ
БЕЗБОЖНИКА

АНАСТАСИЯ ЧИЧИКОВ-
ЧАЙКОВСКАЯ

16+

Анастасия Евгеньевна Чичиков- Чайковская Простите безбожника

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67927776

SelfPub; 2022

Аннотация

В городе имени Морта из недр архивов было поднято дело о смерти Владимира Солитудова, из дома номер пять на улице имени Виты. Что погиб неизвестно от чего, неизвестно как, а похоронен был с тетрадкой. С тетрадкой, где обнаружили шифр. Этот шифр попал в руки бедного переводчика-филолога Якова Фрицевича. Шифр, хранивший историю врача, продавшего душу за оживление последнего близкого человека.

Содержание

В городе имени Морта прошла эксгумация	5
Аминь I	11
Променад	17
Старый друг	21
Аминь II	28
Аминь III	37
Смех, смех...	42
Кольцо	49
Врач	53
Боже мой!	57
Аминь	60

Анастасия Чичиков- Чайковская Простите безбожника

Любимому Полю Амие.

Моим старинным читателям.

*И человеку из моей жизни давно ушедшему, но когда-то побудившему начать этот рассказ, **Вере.***

В городе имени Морта прошла эксгумация

Он оживил ее. Он оживил ее. Он не знал зачем, он был совершенно одинок. Ему было ужасно печально и сколько бы раз он не выходил в люди, сколько бы раз он не пытался выйти из окна своей маленькой коморки, сколько бы он не пил и не завязывал, не завязывал узлы петли – он вспоминал свое обещание. Он клялся, что не умрет. Клялся. Я не умру! Все умерли. Все те с кем можно было еще быть.

Владимир Солитулов из дома номер пять, на улице имени Виты и городе имени Морта скончался. Его выносили в белом саване, да по его завещанию положили в гроб с букетом засушенных лютиков, тетрадкой, среди самоубийц и убийц, а после никогда более никто не навещал его покой. В доме его, по завещанию тоже, зеркала на завешивали, лишь иконы. Окно треснутое не меняли, а в каморку никого не заселяли. Когда подымали труп, говорили, что под ним красным алым кровавым страстным цветом начертано было, выцарапано последней волей – «простите безбожника». Когда труп этот готовили к захоронению, то на свой ужас, при вскрытии, сердца не нашли.

Прощение безбожник заслужил забытием. Его не вспоминал никто. Никогда. Его не навещал никто. Никогда. Он был одинок. Никто не знал зачем он захотел быть совершенно одиноким. Лишь в один день, когда по решению неизвестно кого, для изучения этого таинственного дела из глубин архива, гроб господина достали и открыли, узрели тело сгнившее и тетрадь нетронутую. Этой тетрадью заинтересовался прибывший на место врач – Ионтий Евгеньевич Биатусов. Его происходящее видно волновало более всех присутствующих. Он то ли что-то чувствовал, то ли был тут с конкретной целью. Виден был лишь азарт в черных-черных жуковых глазах, да снег на рыжих ресницах. Земля промерзшая, поддавалась лопате плохо, как знаете. Но вышло же! Сколько стоят тут! И тетрадка. Тетрадка среди хватки костей?

– Господа, что за тетрадка у него в руках? – Ионтий посмотрел на глубокого старца, который по положению был дядькой господину похороненному, которому только и была известна воля в подробностях. Он как родственник, ибо остальных и нет уж.

– Барин не изволил сказать пред кончиной. Сказал мне ни в коем случае ее не открывать, ибо тайна там страшная, дьявольская.

Ионтий этим ответом был не то что бы доволен. Он при-

нялся расспрашивать, но старец отмахивался-отмахивается. Говорил, что не надо ее трогать. Не понимает мужик, что все для раскрытия делается! Раскрытие, которое было необходимо! Его потребовал спустя месяцы сдающий эту каморку, ибо с деньгами стало трудно, а тут и губернатор ругается на местную власть мелкую. Вот и решили за дело давнишнее взяться.

К следователю подошел наш врач взбудораженный – Павел Петрович Сабинов, низенький, но до того зоркий и проклятуший, что образ его лишался всякой комичности. Биатусов так и принялся про тетрадку эту говорить. Так и принялся, так и залился.

– Да что Вам тетрадку эту, Ионтий Евгеньевич?

– Ну видно мужик этот, – шепотом на ухо скажет, переклонится с высоты своей – Знает, что там что-то есть о смерти его! Ну как можно не поглядеть? Из Ваших рук, строго из Ваших рук в рамках следствия.

Следователь был бы готов заявить, что избаловали они эту врачебную морду, которая наглость имеет в процесс вклиниваться не по-своему назначению. Но любопытство тоже выиграло, прямо на месте, строго из пухленьких рук местного гения детективного, а там шифр! Шифр! Как нахмурились

оба, делать что им остается? Не прочтут же! Мужика спросили, а тот раз те и помер. Помер! Прямо у них на глазах, да свалился в яму господина с грохотом. Может и просто в обморок упал, а потом уже помер, сломавши себе шею. Помер!

Это событие никуда дальше этой могилы больше и не вышло. Так и осталось какой-то рядовой погибелью, которая никоим образом не тронула двух мужчин стоящих рядом. Они тетрадку повертев, лютики найдя решили, что действительно документ важный. Только кто же им его прочтет? Был лишь один человек во всем городе имени Морта, который к таким буквам и символам странным был приспособлен.

ЯковФрицевич Мертвый! Мертвый! С таким прозвищем ставшим фамилией. Он и станет фигурой важнейшей. Человек он был нелюдимый, одинокий, нервный. Сирота круглая, что образования получил лишь по случайности. Его приютил композитор местный. Католик был, не православный, да еще и немец. Жены не имел – любимая умерла, а более никаких женщин он знать не желал. Он после ее смерти и подался черт пойми куда, в глушь русскую! А Яков одиночество мужчины скрася, заменив сына, взамен получил учение порядочное. Только папенька иссдохся, да сын крестился православным. Зассел в доме отцовском филолог, спрятался в книгах и переводы лишь писал, получая за то гроши. Когда ему тетрадку эту принесли два однокашки, а они бы-

ли однокашками по гимназии втроем, то он недоверчив был сначала. Не понимал, как с этим всем работать, но пообещали оплату достойную.

– Давай, Яша. Не зря же уезжал получать учение свое, давай.

Стало прощанием. Яша мог бы и огорчиться, что к нему лишь за чем-то приходят, ни слова нежного не скажут, ни спросят о жизни. Да о чем спрашивать, ежели только клопы новые нарождаются? Рад он даже был, рад, что новое что-то явилось в жизни его хладной пустой.

Не зналось с чего подступиться сначала. Яков вертел все что знал, думал, вглядывался. Ни ел, ни спал! В ужасе вечно ходил, который от чего-то в нем поселился. Будто в его руках нечто до того страшное, до того неправильное... А потом, в один день, Яков подступился вновь. Он решил бездумно, без всякого логического осмотра. Наконец! Наконец до него дошло из чего эта чертовщина состоит – руны, латынь, греческий, кириллица. Руны, латынь, греческий, кириллица! Руны, латынь, греческий кириллица. Значит ли это... Боже, какой ужасающий восторг охватил всю душу! Какой восторг! Он тут же написал своим знакомым о своей потрясающей догадке, но теперь ему нужно было дойти до самого сложного, до сути.

Нужно было раскрыть хоть одно предложение, хотя бы одно, дабы уже сопоставить с остальными. Как же этот Владимир Солитудов, имеющий только кое-какое медицинское образование и знание двух языков – латыни с русским – мог создать что-то настолько сложное? Как же? Для чего?

И первой фразой, отгаданной за долгие луны изучения, стало незамысловатое: «простите безбожника!». Потребовалось множество ночей, множество дней, но выяснил Яков Фрицевич истину.

Текст написанный разделялся аминями, молитвам подобно. Иногда он обращался в стихиру, в песнопение, иногда в прозу кривую. Историю, которую он выяснил низложена будет ниже, история, которая так и должна была остаться под крышкой, гроба и никогда не выходить на поверхность:

АМИНЬ I

«Меня. Меня... Как меня можно теперь звать? Люди звали меня Владимиром, а теперь никак не зовут. Я одинокий несчастный человек, у которого ничего в жизни нет. Только останки веревки, только старое платье, только быт лекаря с отварами своими. Только гроши в карманах, которые я безвольно кидаю мальчишкам. Только гроши. Только гроши.

Я Солитудов. Солитудо с латыни – одиночество. Я часто вспоминаю об этом, когда нахожу листы времен студенческих и сползаю по стене своей каморки. Темной, с окном единственным – бедность. Я дядьку то своего отпустил, а он все равно ходит-ходит. В чулане спит, вспоминает обещания данные моему отцу. Покойному.

Я Владимир Иосифович, или все же Иванович, или все же просто Батькович? Да толку от отчества, ежели отчества нет.

Все мои товарищи давно мертвы – кто от чахотки, кто от пневмонии, кто от солдатской болезни. Я не женат, и притворялся множество лет, что никогда не был увлечен. Я никогда не молился с того дня, когда, переступая через порог, когда сымая шляпу с главы своей юной узрел шею белую

объятых Лукавого, в объятых поцелуя смерти! В петле. Во тьме. Лишь черные кудри, черные кудри как-то прикрывали это сладострастие смертоубийства. Я бы тоже не отказался от такой любовницы! Такой простой нетребовательной любовницы! Но я клялся, что не умру. Глупо клялся. Глупо клялся, да больше не молился. Не умею. Не смогу.

Меня... Меня. Как можно теперь звать? Это было известно только одной цыганке-калеке. Один глаз у ней заплыл, платье все ободрано, зубов передних что нет, брови тяжелые и оспины глубокие. Мерзкая, тучная в старость, но все равно худющая. Вся в пятнах! Вот она, вот этот дьявольский облик подозвал меня из-за угла, в ливень, когда я обреченно стоял и думал о том, что заболеть пневмонией и умереть довольно занятная идея. Она подозвала. Уж Бог знает почему я отозвался! Бог знает почему ее образ, ее жалкий образ уродливой карги, привел меня в такой дичайший ужас.

У меня дрожали руки, у меня дрожали седые пряди, у меня дрожало все гнилое нутро, гнилое пусть свет и жара его не трогали, лишь льды. Гнилое. К нему тянулся изгнивающий лик цыганский. Тянулся. Я видел черную прядь. Видел рыжую прядь! Видел белую прядь. Видел. Это свет, это грязь, это слизь? Что же это предо мной стояло? Но потом страх отступил, сменился злобой, и я услышал, услышал, отвыкшими от гласа какого-либо, ушами.

– Тоскливо, юноша? Тоскуете? – засмеялась, открыла пасть свою и мне казалось, что в глубине ее рта должны скрываться врата в ад.

– Какой же я тебе юноша?

Проскрипел я. Так злобно, так неумело, даже испугался – отвык. Отвык от звука собственного гласа, без того кривого. Но я старался не подавать виду! Еще дрожащими руками цеплялся за дно кармана следя за мешочком монет. Колец то нет! Брошей, запонок. Только эти пару монет.

– Ну кем Вас еще звать? Вроде лекарь, а как им быть можно себя излечить коль не выходит? Видимо плохой, а плохи юноши во всем от неопытности.

Как же ты, цыганка, так ровно говоришь, если у тебя половины зубов нет! Глазами сверкаешь желтушными, как псина больная.

– Цыганка ли меня судить еще будет? Чего же ты сама умеешь?

Ее мое хамство не трогало, даже смешило. Захотелось именно поэтому прекратить, улыбається – мерзко.

– Коль Вы ко мне, юноша, подошли, то знать должны. Я же погадать предложила.

– Погадать? – это по ручки водить она мне собралась, в состоянии полусонное вводить травами и дымом, табаком под носом водить и рога ко лбу приставлять? А может и вовсе чай, по Сибири провезенный, нальет?

– Погадать! На картах! Вон моя палаточка стоит!

И правда, в этом темном переулке стоял грязный-грязный шатер. Синяя тряпка, одеяло бывшее, поверх красной портьеры и все на гнилых палках стоит. Вот оно новое гсударство! Вот оно царство тридевятое, а я почему-то легко согласился в него отправиться. Но можно ли из такого выйти? Можно ли?

Она меня за руку взяла, руки мокрые, ногти длинные, но мне уж как-то все равно было. Я словно обезумел, словно действительно признал, что подошел. Монеты вывалил, да айда смотреть, как она карты в руках вертит. И могу сказать Вам прямо, что колоду так не тасует ни один шулер. Ну она и ведьма! Ведьма. Кости на полу валяются, кошки вокруг ног моих вертелись, покуда я на табуретке маленькой усидеть пытался. Дым от свечей, дым, дым. Слезилась глаза, слези-

лись глаза.

Она кинула карты на стол, на столик, покрытый грязной скатертью, за которую я хватался пальцами от удушья, кинула и принялась читать басом, от чего-то мужским.

– Я вижу утрату, – ее нос коснулся моего уха, я бы поверил, что она собирается меня сварить в одном из маленьких котелков, стоящих в углу палатки – Вижу смерть, вижу юную деву погибшую, единственную близкую. О, да! Я вижу, как твое сердце пронзают мечи, вижу.... Вижу. Вижу твою гибель ужасную, вижу что спасение тебе нет!

– Как же мне спастись?

Робко, робко спросил мальчиком, вшивым гарсоном, чуть ли не упал от ужаса, а она в муке завывала, картами за-вертела, шею изогнула, как человек живой не способен изгибаться. До хруста, до падения гильотиной! Из ее рта, вперемесь с женскими криками боли несея глас, тот бас самый. Она выдернула карту, карту с изображенным на ней чертом и двумя влюбленными. Дьявол. Дьявол.

– Обратись к дьяволу, юноша. Обратись к бесам! Умрешь ты, умрешь. Одно твое спасение дьявола просить, Бог не зрит тебя давно, не зрел. Не от Бога, не от Бога...

Я в ужасе, в диком ужасе и вопле выкатился из этого адского пристанища! Я бежал, я бежал и хотел бы молиться, но у меня ни одно «отче», ни один «аминь» из горла не выходил. Да Бог с ним, ни одно слово! Я падал на колени, смотрел назад и мне казалось, что я видел эту искаженную старуху, которую нечто использует как чревовещатель. Может и сдохла она давно, черт знает! И не скажет он мне, сказал уже итак многое. Точно то был он! Точно он. Кто еще это мог быть?

Когда я вернулся в свою каморку, упал лицом в пыльный ковер, стащил с головы шляпу, заплакал. Тихо, жалко, как ребенок. Чей только? Каморки, пустоты? Или бумаги, которую я нашел в кармане сюртука на следующие утро. Бумаги где значилось подробно нечто...»

Променад

Яков Фрицевич не мог сказать, какое впечатление на него произвело им переведенное. Цыганка больная, каких их в городе и не было. Цыгане они к западу, а у них почти в Сибири, цыган и нет нигде. Даже русских нет. Никого нет. Не осталось, все ушли в городе имени Морта. Все кто только мог.

Он читал что-то подобное когда-то, в каком-то готическом романе верно. Может Владимир Солитулов тоже писателем стать захотел? Он как раз жил в эпоху зарождения жанра, верно вдохновился. А может и вовсе сбредил. Лингвисту уже было все равно, он хотел наконец отдохнуть. Написав своим двум товарищам письма, приглашающие обсудить первый «Аминь», он, впервые за несколько лет, ровно в семь часов вечера, вышел на променад. Ему было тяжело оставаться в стенах собственного дома, он будто стал не одинок вовсе. Будто кто-то был, будто кто-то наблюдал и смеялся. Зеркала, иконы в углах, бутылочки в буфетах, тарелки в обедне. Нашли паяца! Паяц не хочет. Кружево манжет ушло столетие назад, кружево шейного платка, а больше ничего нет – лишь обноски папеньки давно умершего. Может и есть доля жуткого в том, что на плечах вещи покойного, но денег не много было.

Яша какое-то время в жизни своей работал учителем, в гимназии, где сам учился. Но его очень быстро утомила эта участь. Участь! Дети невозможны, невозможны. С ними еще тяжелее чем с взрослыми! Ведь взрослые могут соврать. Могут двулично увести глаза. А детям оно не нужно! Дети от природы не очень лживы, жестоки, но не лживы. Дети все правду любят. Любят рисовать карикатуры на своих юродивых преподавателей. Любят подписывать на древнегреческом, который и преподавал Яков Фрицевич. Не только! Он все языки преподавал детям. Все – это штуки три. Но не один, если только французский, им не нравился. Вот и итог.

Черт с этой гимназией, даже вспоминать неохота. Образование кошмарное на отчизне! Ужас, мрак. Лишь извращает умы следующих поколений, сплошная деградация и уныние. Да важно ли это мертвцам, когда в их городе скоро ни одной живой души не останется? Куда же пропадают люди? Куда же? Дети мрут как мухи, это везде так, но не слишком ли много гробиков собирается? Один ученик из гимназии, опять она, застрелился из отцовского ружья. Шалил ли? Неразделенная любовь ли, прочел страдания юного Вертера?

А улица пустая, мрачная. При чем, что центр, что окраина, где наш мыслитель жил. Везде так пусто, везде. И даже если были когда-то шатры гадалок по углам, от них остались

лишь тряпки на саваны. Мор ли какой? Мор душевный. Нога то и идет, душа не поспевает. Может быть в храм зайти? Не хорошо оно, что чувствуется.

И правда, чем больше Яков шел, чем больше петлял, тем сильнее становилось ощущение того, что за ним кто-то следит. Пусто. Пусто. Ничего, ни звука. Даже кошки дворовой, даже собаки вшивой, которых так боялся. Дом свой серый, в окне пусто, в чужих окнах ни тени. Ничего. Даже плача младенца прачки.

Тростью отбивался ритм, ветер дул свежий, дождливый, северный. Дул в нос, дул в глаза, вынуждал-таки повернуть. Сердце билось припокойно, словно исчезало где-то внутри плоти, растворялось. И повернул очи свои Яша, повернул к дому обратно – час он так прогулял по улицам одинаково грязным. Шел с пустотой внутри счастливой, ничем не обеспокоенный, даже почти смешливый. Сборник анекдотов французский примется читать, возможно. Последняя радость. Заодно и вспомнит, как языки человеческие вообще выглядят!

Поднимает голову, а там, в окне второго этажа, из библиотеки, силуэт глядит. Точно силуэт. За шторой. Света нет, погашено все, прислуги – сам управляет. Кто же то? Кто же? Кто же?! Гнев, страх, ужас. Ничего не видно, даже не

получается определить пол этого человека – вор ли? Увидит же хозяина сейчас, да бросится прочь! Значит надо скрыться во тьме, благо вечереет быстро. Да с черного входа, да-да!

И Яшу эта бредовая идея ничуть не смутила, идея, что слабый и болезненный мужчина поймает преступника. Ну будет работа товарищам! А то они про оплату все же приврали, немного, но дружба обязывает.

Сад пройдя мертвый, мертвый и изничтоженный, забытый. К чему? Не до астр, не до маков. Морфин итак купить можно. И вот, когда дверь отворилась, а лестница оказалась сбоку, то в коридоре, точно, не почудилось, стоял мужчина держащий карту в руках. Карту. Колоду неужто украл, настолько денег мало? Так спер бы что достойнее.

– Вы! – но стоило это пропищать, прокричать, то человек пропал. На пол лишь упала карта, где нарисован был дьявол с двумя влюбленными. Адам и Ева, что логичнее всего предположить, а плодом что у них? Лист исписанный.

Старый друг

– Почему же вы мне не верите? – отчаянно спрашивал Яков Фрицевич двух своих друзей, пришедших на следующий день после обеда. Все это время бедный Яша трясся, трясся и пил не то чистый спирт, не то действительно водку. Не плакал, нет – молчал. Молча слушал кукушку выпрыгивающие из часов, настолько она по итогу его доконала, что в отчаяние кинулась туфля. Она убила! Убила птичку! Птичку. Птичку. Убила птичку! Последнюю подругу, с которой смеяться приходилось множество лет взаперти. Так совестно стало, так совестно, что и вторая бутылка замаячила на горизонте.

И пьяным-пьяным замученным взглядом маячил до пяти часов утра, до рассвета. Зарыдал бы, да не выходило. Тошнило, мутило – дешевое же пойло. Хоть бы не ослепнуть! Хоть бы не ослепнуть! Вот как думал в тот день порядочный мужчина с высшим образованием.

С похмельем разобрался тоже кое-как, может и нет вовсе. Сидел сейчас весь синий, весь опухший и несчастный, нечёсанный, да пытался рассказать историю про карту с чертом.

И все равно было следователю да врачу. Даже если правда,

они за годы своей работы и не такое повидали. Ионтий Евгеньевич даже умудрялся улыбаться, падаль. Жenuшка галстучек поправляла видно сразу, какой красавиц писанный. Увел же возлюбленную Фрицевича много лет назад! Не может он любить, юношеская дурость, да-да. Лишь бы насолить, насолить, а сейчас ржет над ним. Издевается гнойник! Тварь редкостная, так бы и набить рожу, да только Павел Петрович помешает. Ладно, покойнее. Что о даме? Все равно ей дурак лингвист бы по душе не пришелся. Пусть, пусть. Счастливы же, а ему и в одиночестве хорошо. За влюбленными всегда следит дьявол, всегда между ними Лукавый.

– Яша, от тебя спиртом пасет на весь град наш малый, – Ионтий зевнул, зевнул и принялся рассматривать потолок, голову закинул – Ну даже если...

– Сейчас-сейчас, я вам покажу эту карту, – и полез под стол лингвист даже не дослушав, а может и просто упал. Только ему не дали! Перехватил следователь на место усадил.

– Да черти с картой! Может тебе в карман кто подкинул ты сам выронил, а мужик тот показался просто на просто.

Это было абсолютно нелогичное, абсолютно глупое предположение, но захотелось поверить. Захотелось поверить!

Уверовать хоть в дьявола, но объяснить себе, что же это было. Схватился за подола пиджака Яшечка, зажмурился, проморгался. Усмирил ревность, обиду, досаду, воспоминания, дух пошла. Зажмурился так, проморгался так, что по итогу в глазах поплыло еще сильнее.

– Так что ты там перевел? –Ионтий как всегда сторал от любопытства, он всю дорогу верно продергался в желание узнать скорее, что этот глупый жалкий мальчик с первой сединкой на голове нашел.

– Я? Перевел, перевел, – зашептало совершенно бедно, зашептало – Перевел?! Да, вот же оно.

Пальцами тонкими серыми Яша подергал папочку, ленту развязал, да толкнул, толкнул к этим зловещим рылам. Были ли они друзья ему? Никого и нет, лучше не думать о сем. Они с интересом принялись изучать, хихикать, словно журнальчик, какой парижский читать изволят. Больше всех, конечно, смеялся Ионтий. Ион, да? Был у греков такой, родоначальник ионян! Только о нем ничего не припомнилось для злорадного. Осмелился бы малыш лингвист? Нет.

– Какое довольство! А у этого Солитудова настоящий дар писательский, а, Павел Петрович?

– Я не смыслю в литературе, Биатусов, – прорычал в своей львиной манере, прибрал в свои пальцы пухлые. Так и хотелось сравнить со своими! Пальцы холостяка, пальцы семьянина – карикатура тысяча восьмисот девяносто пятого года, художник неизвестен.

– Ну-ну, чего Вы так со мной грубы? Друзья все-таки, – Иона это повеселило, БиатусоваИонтия. Кто же так сына называет? Он смеялся. Смеялся. Не смешно вовсе. Не смешно!

– Да прекратите Вы смеяться, Ионтий Евгеньевич! Имейте достоинство.

Яков Фрицевич пытался защититься от этого шума, он не хотел слышать. Он бы отдал жизнь, дабы оглохнуть. Помнит он этот смех. Когда-то, в ссоре отроческой, эта падаль разбила ему нос! Сабинов их разнимал.

– Ну-ну! Как ты...

– Дом все-таки мой, перевод тоже мой. Оплата Ваша того не стоит. Выдайте мне ее уже скорее, да катитесь к чертям. Надоели! Надоели!

Усы рыжие вниз опустились, глянули в серенькие глаза шифровальщика новоиспеченного дико. Вызов! Жаль пер-

чатки в карман сложил – в рыло не бросить.

– Ты помни с кем говоришь!

– Я-то помню! С развратным алкоголиком, который увел у меня последнюю радость в жизни. Хорошо Вам живется, Ионтий Евгеньевич, спя с женщиной, которая Вам всегда была отвратительна? Бедная Лизавета Петровна! Боже мой, как она может Вас терпеть!

Яков дрожал, дрожал, как щенок блохастый. Плакал почти, напряжен за месяцы работы. Глаза выпучены, губы сини, ни крови в лице. Лишь уши ей налились, лишь уши и венка на шее. Ионтий ответить ничего не смог, Павел Петрович подоспел быстрее. Заорал, как умел:

– Заткнулись оба. И чтобы я не слышал ничего не по делу. В прошлый раз разбили носы друг другу, а в этот раз еще и я приложусь! Улетите к кузькиной матери, да в могилку заранее вырытую.

Заткнулись оба. Замолчали, сели ровно, глаза увели – Яша стыдливо, Ионтий озлоблено.

– Я, – продолжил Павел Петрович – Учту момент денежный, Яша. Денег в городе нет совсем, да и у нас. Попрошу

стало быть сына старшего подкинуть, а то ты совсем уже с ума сходишь. Зови хоть кого. Хочешь горничную к тебе отправлю свою? Хоть посмотрит. Баба старая, еще со времен крепостничества при нас.

– Как Вам угодно, Павел Петрович. Дайте пока что есть, мне нужно хоть поесть купить.

На том они и ушли. Ушли оставив Яшу одного совсем, уставшего бедного. Когда он, пересчитав гроши конвертные, направился в покои читать тот сборник анекдотов, то... Пропал сборник. Куда? Бог знает! Пропал. Был ли он вообще? Не знал Яков. И до того печально ему стало в одиночестве своем, когда единственные собеседники – два идиота бестактных, покойная кукушка, да пропавший сборник – решил к своему новому другу обратиться. К Солитудову второму аминю. Много общего у них было – пропавшая возлюбленная, одиночество. Так какой же финал у истории этой? Уже известно. Таинственная смерть. Может лингвист умрет так же? Когда-то у него кто-то был, кто-то кто ждал его писем. Федор Борисович был. Однокурсник! Такой умный, такой замечательный человек с белыми кудрями, греческим профилем и ясными-ясными янтарными глазами. Чистыми, чистыми. Удивительнейший человек! Поссорились по пустяку, по политической дурости, а потом Федор переехал быт строить на туманный Альбион. И все. Писать некуда. Сколько

раз хотел Яша сорваться, бросить все и уехать-уехать к другу старому. Обнять, обнять и пожаловаться на весь этот кошмар. Может он так и сделает. Деньги эти чертовы потратит, бросит город имени Морта и убежит к товарищу. Сколько писем он писал ему, но отправить не знал куда! Все в чемоданы положит, все привезет с собой. И потому аминь этот второй так быстро, так легко переводился на русский язык. Окрылен был Яков идеей вернуть потерянное! Хотя бы друга.

Аминь II

«Та бумага. Бумага, которой я кончил прошлую запись. Эта бумага была мятой желтой, от нее пахло травами и руками той цыганской твари. Жиром ли каким, краской ли какой иль гнилью? Бог знает! Хотя, могу ли я его упоминать после всего того, что со мной произошло? У нас должна быть церковь! Но смогу ли я зайти исповедоваться.

– Господи, прости! – я встал на колени и посмотрел в угол, где стояла икона. Пыльная, не зрела Богоматерь моих грехов, не зрела. И не знал о каком прегрешение мне хочется рассказать, не знал. Не знал! Меня это вводило в ужас. Я унижал людей, унижал и гневался, я пугался, я никогда-никогда не любил никого, кроме одного человека. Одного человека, которого Бог у меня забрал. Можно ли насрать было на ту душу светлую подобное испытание? Почему эта душа не попросила меня о помощи? Почему милая ушла?

Разгневался я в ту же секунду, встал с колен, схватил икону, сдул пыль и глянул в эти немые страдающие очи. Глянул на младенца, на мать его и рассмеялся. Рассмеялся так злобно как мог, да ударил лики эти иконные об стену. Оно треснуло, треснуло посередине, а потом я отскочил. Отскочил, ибо у меня в этот момент треснуло сердце. Я сам уда-

рился об стену, вцепился в волосы, вцепился с такой ненавистью. Почему ж все кончилось? Почему нежность кончилась? Почему-почему я совсем один? Почему я дышу? Я глянул в зеркало, глянул и узрел потрет всего страдания, какое даже на той доске, разбитой узреть не удавалось. Кровь на губах, царапины, оспины, разбитый нос. Только боли не было совсем у тела, оно умерло. Оно умерло. Умерло. Оно брошено и мертво. Души моей больше нет, что же мне нужно сделать дабы ее вернуть? Цыганка сказала обратиться к бесу. И я обращаюсь.

Пусть эта тетрадка станет моей исповедью, которую я не могу произнести вслух! Пусть это будет новый гримуар. Пусть это будет что угодно. Пусть будет. И без какого-либо раздумья очередного, не вытирая крови с пальцев и лица, я начал читать, говоря вслух особо зацепившие моменты.

«Обратитесь к Бесу, юноша,
Обратитесь, Божья вша.
И верните родного себе раба.
Верните родное навсегда,
Верните любимое во славу черта.
Начертите белым три круга,
Начертите в нем себя.
Начертите гроб,
Люциферовы глаза,

Киньте карту и тогда,
Вам откроются врата,
Врата немого рта.
И свиного пятака.
Аминь.»

Аминь! Аминь. Пусть же. Руками своими дрожащими я сдвинул все столы в сторону, все стулья и тумбы, да принялся рисовать с таким восторгом, какой не ощущал никогда в жизни. Я возможно был счастлив. Не знал почему, но был. Я рисовал, я пел романсы, пел и в них сквозило родное мне имя, имя, которое я, казалось, давно забыл. Имя любви. Если только дьявол может вернуть мне эту радость возможности быть любимым, если только дьявол может одарить меня, то пусть. Бог нем, Бог глух ко мне. Он насылал мне лишь страдание.

Я нарисовал в трех кругах прямоугольник, крест на нем перевернутый и глаза змеиные. Я нарисовал и когда собирался в гроб ложиться кинул карту, кинул карту и край ее загорелся. Воспламенился. Слово даю! Загорелся всеми закатами, которые только бывают в мире. Загорелся, как щеки юной девицы. Загорелся и падая на деревянный пол разжег мне проход в преисподнюю. Я же летел в это зовущее меня пламя без страха и мысли, летел и чувствовал, как жжет ланиту, как жжет пальцы, но потом была лишь темнота. Тем-

нота, слизкая темнота и кто-то тащаций меня под руки...

Ужас поразил меня, я уже было поверил, что умер. Но нет! Некие сущности человекоподобные, с крыльями мухи, ногами козла и глазами где царила только пустота, тащили меня по красной-красной от жара пещере. Камни верно плавились, а я в одной рубахе, как в крещение, не смел даже дышать. Это черти. И черти несли меня неизвестно куда, в пасть чью-то. Я покрутил головой, надеясь, что это останется незамеченным, но что уж! Рассмеялись эти рыльники адовы, рассмеялись и я точно видел акульи зубы. Шерсть словно кружево манжет вокруг копыт, шерсть и чешуя. Хвосты, хвосты и крылья-крылья! Там был выход, выход наружу из красного тоннеля жара. Я слышал, как кричат грешники, знал, что верно так же скоро кричать буду, но меня лишь повели по лестнице вниз.

Эти черти сменились иными, им во всем подобными. Те принялись мне к лицу гостинцы подносить, но что же то были за гостинцы! Гранаты, апельсины, виноградные лозы, но что не тронь, то сразу виделись мне мученики, варящиеся в смоле. Не мог я принимать даров из этих рук чертовых и вежливо оказывался:

– Не одаряйте меня дарами, не одаряйте, – и пытался вырваться из рук, из цепких-цепких дьявольских рук пытаюсь

не задохнуться от жара меня окружающего. До чего же жарко! До чего же невыносимо!

– Вы гость наш, гость наш! – в один голос кричали со всех сторон, подобно хору церковному, только здесь был крик истеричный. Все шло в разрез с раем, с Богом, с нежным лонном сада.

– И куда же вы меня ведете? – спрашивал я их, когда они очередной раз подкидывали меня в полете, а летели они куда-то вниз. Вниз, вглубь всего этого кошмара, где единственный свет – огонь страдания. Я видел, как где-то сверху крутятся несчастные влюбленные в урагане, видел, как безбожники бегут по песку и бьет их дождь красный. Я видел и понимал, где я по итогу буду.

– К Царю нашему! – к царю, к Люциферу, верно.

Меня нарядили в красный бордовый камзол, исшитый золотом, надели на ногу лучшую туплю, какую только мог я представить, причесали, и все это в процессе нашего путешествия воздушного! Какая-то чертиха, а то я понял по страшной уродливой женской груди, поднесла к моему лику зеркало, узрел там я молодость, юность, но знал, что лживо это все! Хотел лишь наконец-то приземлиться.

Хлад ударил мне в лицо, привели к Люциферу. Тот сидел на ледяном троне, вокруг него плясала бесота, так напоминающая придворных. Все разодеты, все в украшениях все танцуют и лик у Люцифера был белый-белый, очи пустые незрячие, руки когтистые, нос величавый. Только от белоты его, от схожести с ангелом бывшем не скрылась истина. Крылья темные, корона голову давящая, да зеркало в руках, тоже изо льда, то гордыня проклятушая. Гордыня царство ему подарившая.

Я поклонился.

– Не хочешь потанцевать?

– Не хочу, Ваше величество, – его величество пожал плечами, и сразу же толпа бесов исчезла. Да и сам он словно стал больше козла напоминать, ноги то подобно фавну, да и рога имеются, что болезненно ломают злато кроны.

– Может яств желаешь?

– Предлагали мне уж, Ваше величество. Не за тем я здесь, прощайте, – я встал на колено, как его жест потребовал.

– Так чего жаждешь?

– Я жажду вернуть свою возлюбленную, Ваше величество. Бог слеп ко мне, слеп и нет у меня другого выхода, как Вас молить. Цыганка мне посоветовала к Вашей милости обратиться.

Его милость улыбался скверно, как скривился от божественного упоминания. Мне даже показалось, что я слышу звон железа доспех, что сейчас меня прижмут к ледяному полу, где отражался мой чудно юный лик. Что окажусь я под каблуком дьявольским, что в подчинение навечно останусь и снимется с меня камзол, да кинется мое тело в горящую могилу. И снова посереют синие когда-то глаза, и снова поседеют пряди и снова мука лик измучает. Но Люцифер не зол покуда, не зол.

– Моя милость не дается задаром, – и он подозвал меня рукой, я не попытался бы встать, но понял, что мне ползком к копытам подобраться надо, под длань царскую, перстни мне тут же поцеловать пришлось.

Я не задавал вопросов, я ждал покуда мне скажут, что от меня требуется. Скажи это существо пропитанное холодом и мраком, от которого пахло глубиной и смертью, исцеловать пол, верно, прилипая ко льдам, или отрубить себе руку – я бы не раздумывая согласился. В моей голове было лишь желание скорой встречи с моим счастьем, с моим единственным

счастьем, которое так нагло было отобрано у меня, вырвано из пальцев! Из моих слабых пальцев, вот ровно таких же, как в этом аду – юных, без такого количество родинок и пятен. Юных пальцев с колечком утерянным.

–Одной твоей души мне будет мало за такую услугу, – и он, царь темных красных тоннелей, князь тьмы и ужаса, король опарышей и ужасающих стонов, разносящихся здесь за стоны любви при жизни – Потешь меня.

– Как мне стоит Вас потешить?

– Я хочу послушать Реквием. Спой мне его.

Я замешкался. Я здумался и ощутил, ощутил, как мои пряди болезненно оттягивают, как заставляют нагнуть голову назад и обнажить шею.

– Ежели мне придется не по нраву, то, – я слышал, я точно слышал чей-то ужасающий раздирающий визг болезненный – То ты из моего достопочтенного гостя обратишься в моего пленника, милый друг. Пой же!

– Трубы удивительный звук пронесется над кладбищенскими странами...

И точно мне заиграл орган откуда-то, и точно не знал я выйдет ли. Но пел! Пел, как мог. Пел. Как знал. Не зная, не зная, что ждет меня дальше. Пел, пел ощущая, пальцы в волосах и надеясь, надеясь, что все это займет хоть какой-то смысл. И когда же с моих уст слетело последнее слово, тогда, тогда я услышал ответ: ...»

Аминь III

«Сатана ответил не сразу, он размышлял. Оглядывал меня с головы до каблуков им подаренных, оглядывал и думал о чем-то мне неизвестном, я знал, что сейчас решается моя судьбина жалкая. Моя жизнь. Скорее моя смерть, коль я останусь. Решение то зависит от реквиема! И я мечтал верить, что пел его не в свою честь.

– Что же, то было весьма! Ты получишь то зачем пришел – был вывод княжеский. Вот он темный лик, а вот и рука вздымается над моей головой, вздымается и отдает указ чертику в дверях привести мне мою любимую для свидания – Я обещал научить тебя искусству некромантии, верно?

– Да, Ваше величество, Вы обещали, – но имеет ли вес клятва дьявола? Мне предстояло узнать. В конце концов это не примитивный черт, а их повелитель. Разве в пору ему врать столь мелкому существу, как я? Столь мелкому и покорному, пред Богом такая покорность привнесла лишь страдание. Здесь же есть какая-либо вера в счастье, пусть и краткое.

– А как ты думаешь, – спросил меня царь всех бесов – Как ты думаешь, милый мой, хочет ли вернуться в мир смертный твоя любимая? Сама ведь избрала для себя сей путь, что же ты ее лишаешь счастья смерти?

Я чуть не начал говорить о воплях, всюду летающих в этом

темном мрачном месте, где зловоние жженой плоти разбавляется лишь ее гниением. Я готов был описать все, весь кошмар здесь творившейся, но вовремя одумался, покачал головой, где кудри черные явились.

– Хочу быть счастливым, Ваше Величество. Я не могу более грызть себя чувством вины, и я не верю, что ей принесло счастье присутствие в Ваших владениях.

– Столь ли они плохи? Разве не щедры они к тебе были? – игривость снизошла до меня, шутливость. Сам ведь знает всю истину.

– Законы Ваших земель справедливы, но разве оценит убивец смертную казнь?

Мне кивнули, позволили наконец-то от престола отойти пред тем очередной раз поцеловав хладные перста. Я не знаю, что чувствовал – ужас, печаль, все вместе? Радовало лишь то, что я вновь увижу ее. Деву из своей счастливой юности, деву, которая так жестоко меня покинула. Думала ли оно обо мне уходя? Почему же так поступила?

– Коль веришь ты в мою справедливость, милый друг, поверь мне и в том, что не будет она тебе за это благодарна, и по справедливости, свершаешь ты действие неправильное. Но не в моем праве стоит нравоучение! В моем лишь исполнение приговора.

– При всем моем к Вам уважение, но я не могу отказаться от этого

На том все и кончилось. В зал хладный завели женщи-

ну в которой я с трудом мог узнать душу свою. Вся в грязи, волосы включены, глаза безумием злобы и несчастья горят. Ее внесли же под руки два рыцаря рогатых. Кинули на пол, та сразу на колени в поклоне и исподлбья принялась оглядываться. Грудь ее вся истерзана была птичьим клювом! Несчастлива дева! Я прижал руки к собственным устам пытаюсь сдержать рыдания. Но не заплакать в аду, не заплакать при троне дьявола, где лед скует слезу. Я смотрел и не знал – она ли смеялась мне игриво прячась за портьеру? Она ли? Что с Вами стало, милая? Это была единственная мысль в моей голове и я усмирять ненависть ко всем этим уродцам ее обрекшую на подобное мучение. Она сама выбрала. Выбрала. Но не сделал ее этот выбор счастливым?

Она увидела меня, увидела меня своими красными уставшими глазами и спросила, не меня, а князя темного. Я не слышал ни слова! Лишь шептал:

– Надежда Фрисова. Надежда Витальевна. Надежда!

Я пытался дотянуться, схватиться, но не могу двинуться. Не мог. Лишь смотрел, как она о чем-то плачет черту. Бежать что ли пытается, но ловят и, господи, как же она билась в руках солдатни сатанинской. Визжала ли, плакала ли! Господи, господи. Я смотрел на повелителя всего этого ужаса готовясь вновь упасть на колени моля прекратить ее мучать.

Надежда, если бы я знал! Милая, луна и солнце, вода и огонь! Надежда, Вы весь мир и что же Вас затянуло в ад? Почему же черти смеют руки свои к Вам тянуть? Сатана сме-

ется, указывает рукой на милую мне и я, наверное, мог бы его загрызть:

– Вырви ей сердце, друг мой. В нем, в гнили этой грешной, хранится душа твоей милой.

– Ей будет больно? – спрашиваю я шепотом, чувствуя, как ноги мои слабеют, а руки трясутся. Не мог я на то смотреть, не мог. Надежда, господи! Милая, прошу Вас. Милая! Милая. Господи нет, я не могу оставить ее здесь в страдание, не могу! Не могу! Как же?! Чем ее святой лик то заслужил? Чем заслужила?

– Ей будет больно, ей будет больно! Бросай сей бред, эта боль ничтожно мала по сравнению с тем, что она испытывает в своем заключение, – в моих руках из ничего является кинжал, я немею и белею. Он прав, но, прошу.

– Что она говорит скажите, прошу!

– Слишком многого хочешь. Делай покуда я милостив! – он гневаётся, я замолкаю. Я пытаюсь читать по губам и это бессмысленно. Я плачу, я плачу и подходя к ней, под строгим надзором чертей и строгим руководством Люцифера свершаю надрез. Ее глаза чернеют, я прошу прощения, я пытаюсь взять ее за руку, улыбнуться, хоть что-нибудь, дабы сказать, что я не хочу, не хочу этого делать, не хочу причинять ей боль. Я хватаю черное сердце, хватаю и нежнейшим образом извлекаю на тьму дьявольскую.

– Теперечи у тебя в руках ее душа. Запоминай, что я тебе скажу и возвращайся обратно.

– Слушаю, Ваше Величество, – душу ее я прижал к груди и склонил колени вновь. Надежду же увели, знала бы она, что я мысленно поклялся ее вернуть. Милая, Вы достойны рая. Хотя бы на земле.

– Слушай же, слушай! – как нравилось ему повторять – Владимир, Владимир! Саван продержанный у склепа разложи на столе, выложи сеном на нем фигуру человечью, кости палками древа сотвори. И сердце положи внутрь сена там, где грудь будет. Когда тело начнет плотью являться тут же кольцо на палец явленный оденьте, – он кинул мне в руки кольцо, где начертано три имени было – Бример, Субурит, Транаирт.

Я кивал, кивал на каждую его речь и потом, последнее, что заявил он мне:

– Потом нарисуй круг, зачти в нем проклятие заклятие и в тот час очнется женщина. Сотри круг, сними кольцо и спрячь в ларец, так спрячь, дабы она не узнала где колечко лежит. Коль не успеешь – судьбу решит твою ее воля. Негоже душам оживать.

И меня унесли, вывели за руки из тронного зала, вновь взнесли над тьмой пламенной ада, но я уже ничего не понимал. Не понимал ничего, покуда...»

Смех, смех...

Яков гладил страницу с символами этими кривыми, и думал, думал о том, каков же этот Владимир – он так жестоко поступил с милой своей, столь неверно, разве так можно? Разве можно ради своего счастья? И тешился лингвист тем, что никогда бы так не поступил. Вот оно простое для человека, кто же так не делал? А Владимир был ли таким, каким себя написал в своей истории? Это все точно сказка, выдумка опиумной головы бедного лекаря.

Лишь кольцо могло что-то потвердеть. Где же он было? Яков почему-то был уверен, найди они это колечко дьявольское, то все прояснится и можно будет что-то утверждать. Загадки всегда имеют ответ! И ему было весело, очень весело. Все его уныние кончилось, он забыл о ссоре своей недавней с товарищами и смел писать им, прикладывая аминь новый, говоря о своем желание съездить в город большой, где получил свое образование. Да и про кольцо спросил. Ему быстро ответили, что кольца никакого в собственности не было, пустили в путь спокойно. Запретить словно могут? Яков мог бы даже поклясться, что, когда уезжал, видел Лизавету Петровну на утреннем променаде. Какая трагичность лица! Как белеса кудря! Он так и не смог себя переселить и кивнуть ей приветственно. То было неважно. Он всучил деньгу кучеру и помчался, впрочем, всю дорогу он проспал.

Не далек путь был. И между сном...

Он вспоминал, вспоминал годы юности, когда еще была вера в необычайность и легкость, когда были мечты и цели. Когда он плакался над второсортными романами, когда он впервые их переводил. Когда-то тогда, когда-то тогда, когда у него были друзья и близкие, действительно близкие, а не разбивающие носы – то Ионтий. Яков хотел бы вернуться туда, дабы не ссориться по глупости, дабы сейчас было с кем поговорить. Единственный, кто с тех времен остался – спившийся тысячу раз Григорий Андреевич. Странный поэт никогда своих стихов миру не показывающий. Ему было признание отвратно.

Ему лишь бутылка была близка, ближе любого товарища. И Яков не мог к нему не зайти. Его что-то само вело к крыльцу чужому, где всегда дверь открывали, где всегда смеялись и наливали. Где всегда был кто-то.

Его и в этот раз пустили позволили усесться за стол маленький, скатерть рвана кружевом. Кружевом и пыль лежала на полках, рядом с листьями толстыми желтыми. Яша знал – то поэмы. Он пару раз просил дать их прочитать, но ему никогда не давали. И он хотел бы попросить еще раз, может что-то изменилось? Григорий Андреевич всегда был столь добр, не смотря на любое похмелье и горе. Удивительный человек с янтарными глазами, янтарем коньяка. В щетине, в роскошных бакенбардах и в серых кудрях.

Вы подумаете, мол, вот он друг! Но Яша чувствовал к

этому человеку лишь жалость с немым восхищением, а Григорий чувствовал... Ничего, наверное. Он может даже лика не помнил лингвиста, однокурсника. Лишь янтарь коньяка смотрел на чашку кривую, самим поставленную, да чаем налитую. Давно не зрел он напитков подобной крепости! А Яков просто давно не пил – ни воды, ни чая. Разве что водку пару дней назад.

Или может все по-другому? Или может попросить еще раз? Он не знал.

– Как ты, Яша? – спросит первым Григорий, беззаботно.

– Никак, Гриш. Разве что вещица мне в ручонки попала крайне занятая, – то конечно же должно было быть тайной, но, как и всякий человек, Фрицевич сдержать ее не смог. Он прямо-таки заливался пересказом этой рукописи из гроба, словно молвил о сюжете любимой пьесы. Так он в последний раз говорил лишь о Шекспире.

– Вот это да! Какой сюжет. Ведь на пору этого Владимира еще и «Фауст» выпал, да и роман готический, – Гриша даже оживился, забегал глазами не пусто, а любопытствуя – Какой поразительный талант. Нет, правда, он же этот шифр еще должен был создать... Не Фауст, Владимир твой. Это! Это удивительно. И этот человек, да лекарь?

– Довольно плохой, прошу отметить, – хмыкнул Яков – Последние дни свои он доедал локти. Знаешь, если бы мне позволили, я бы тебе принес те начертания. Они удивительны!

Григорий покачал головой, его серые-русые пряди пали на лоб спиралькой, глаза сверкнули, и он вывел, вывел словно пьяный, пусть той чай, но он пьян всегда. По его венам верно струится вино, благо не водка.

– Не все то гений, кого признают. Каково оно признание? Глянь! Вновь упущенный покойник – не вскрой его могилу, и никто бы сего шедевра не узрел.

– Разве это повод, – удивленно спрашивал далекий от всего этого Яков, слишком простой и приземленный для рассуждения о величии – Разве повод это даже не пытаться выйти в свет?

Григорий хмыкал на все это – он ответ знал. Он решил спиться, он решил пропить свой талант, он решил похоронить его с собой где-то среди любовниц и больной печени. Но кто ее будет лечить иль все лекари мертвенно бледны – бледны идей.

– А что пытаться, Яш? Все оно тщетно, я сам оное понял.

– Ты даже не пытался, Гриша. Ты даже не показывал ничего своим, – язык не повернулся сказать о дружбе – товарищам.

– В чем толк? То, что мной написано станет лишним подтверждением слепоты общественной ко всякому уму, – печаль горькая ела злато глазное и оно встрепыхнулось, попыталось сбросить с себя петлю меланхолии дурнышной.

– Что мы чай пьем? Пойдем выпьем чего крепче, в честь встречи!

Яков подумал, что тоже хочет спиться. Он слишком устал от всего этого.

– А давай я дам тебе что-нибудь, – вдруг воскликнул горе-поэт, совсем не на песню предложения – Дам тебе почитать что-нибудь... Ну право! Прочтешь и поймешь от чего не показывал.

– А потом выпьем?

– Давай все вместе, нам нечего терять.

На том они и решили. Только не хотели они в каморке уютится, они пошли пить туда, где звенела когда-то их молодость. Куда-то к блеску реки, куда-то к блеску снежному и блеску зеленых мышьячных платьев. Искры, искры! Безумное беззубое пьянство, хоть не опиумное. Но когда они из интереса брались за руку, когда таскались под ручку напевая православные гимны, Яша видел желтый ноготь. Он не спрашивал, он сравнивал лишь со своими. Потом что-то кольцевало шею, потом что-то кололо нос, потом-потом. Все то было празднество среди чумного ничего. Богоматерь смотрела из церкви, как чьи-то сыны сами себя распинают. Только не было у них матерей, и отцов давно не было.

Смешливый пьяный путник из города имени Морта запомнил лишь одно – они шли с Григорием Андреевичем закругляться, ибо круги пред очами дымились фиолетовым и желтились черным. Адская какофония. И ад был даже не в ней, а в очередной встреченной дамской юбке, правда, знакомой. Мимо театра шла пара – какой-то важный толстый

господин с слоновьем шнобелем, но он тут неважен, а с ним женщина. Ее лицо Яша не смог бы не признать! То была невеста его любимого друга, друга. Единственного друга за жизнь, а не спиртового господина, что никогда ему не доверял и, чего врать, даже не помнил уже ничего. Яшечка, Вы кто? Яшенька, а когда мы познакомились? Вы Яшенька или Толя? Бог же с ним, он сейчас тычится в ладонь и ржет покотски. Бог с ним! Женщина. Женщина! Эта женщина. В синем платье – сплошной изыск кружев и брошей.

– Мария Николаевна, – он отпихнул, как последнюю грязь Григория Андреевича, он вмиг протрезвел и подбежал – Мария Николаевна!

Ее спутник аж весь передернулся, позеленел от отвращения к комару – а Яша точно комаром был в одной из своих жизней. И бабочка – а Мария Николаевна точно была бабочкой в одной из своих прошлых жизней – глянулся жалостливо, удержалась на ветру.

– Яков Фрицевич, друг мой, сколько лет! Гостить приехали? – или может пить? Продолжил за нее черт с плеча, хвостом чрез мгновение махнувшей. Медь локонов, злато глаз и изящество всякого рода не могло соседствовать с бесами. Значит она не могла бы предать Федора. И Яков не мог не спросить:

– Что с Федором? Что с ним?

Его охватил дичайший ужас, позеленело уже не в глазах, а на щеках. Он схватился за сердце и до него донесся этот

медовый голос с какой-то смешливостью, отвратной.

– Федором? Федор умер несколько лет назад – повесился.

Земля под ногами вмиг исчезла, все залил горячий свинец
и смех, смех...

Кольцо

Грязная серость глаз, грязная серость потолка и немая белая пустота за окном. Снег бился об стекло, молил пустить согреться, но злой человек гнал его к чертям – там всяк теплее. К чертям, к раскаленным рогам и крыльям. Яков не знал каков ад, но был убежден, что он схож с тем ужасающим чувством его сжигающим. Разорвались швы, полилась слезная кровь и бинты-бинты никто не принесет. Они и не помогут. Тут лишь переливать! Да кто согласится?

Он не помнил, когда открыл глаза, что увидел. Головная похмельная боль – ничто. Телесное не трогало. Что от тела? Оно смертно, оно ничтожно, раздето болью. Какая разница, что с ним станет, если жить уже не для чего? Какая разница, что станет с этими двумя идиотами из отчизны? Какая разница? Никогда Яша еще не понимал всего своего одиночества, он его забыл в нем существуя. Не думать – к покою. Но как же, черт дери, не думать, когда все твое нутро разрывается при каждом вдохе? Как же, черт дери, не думать?

И черти драли двери. Тень кого-то из них пролетела по пыльной стене, и один опустился к человеку. Сел рядом, взял за руку дланями снежными и Яков не мог не взглянуть – там был мужчина. Мужчина с прядями и очами синевы ночи, скорее даже юноша. Эта юность омрачалась отсутствием румянца всякого, искры жизни всякой, и холодом, бездушием.

Яша потянулся, потому что не мог не потянуться до чужой ланиты, и с ужасом, диким ужасом, отполз подальше, чуть не падая. Он не понимал. Он не понимал! Он хотел кричать, он хотел кричать, но как только он открыл рот – ощутил холод на языке. Чуть не подавился, плюнул и глянь – кольцо. Влажное, горькое, с серебряным бочком, где начертано три имени – Бример, Субурит, Транаирт. Как же? Кто же?

– Верните тетрадку в могилу, я Вас прошу, – шепнул странный холодный господин, напоминающий труп. Он болезненно сморщился стоило только прикоснуться к этому дьявольскому подарку.

Но гость исчез туманом, когда на кашель похмельного лингвиста прибежал горе-поэт. Он глядел с ужасом, то было даже чем-то приятным в бесконечном ужасе. Яша хотел рыдать, он хотел рыдать. Он сжимал это чертово кольцо руками и пытался отогнать страшные мысли. Пытался поверить в собственное безумство, пытался моргнуть и исчезнуть.

– Яков! Яков, ты живой? – Григорий готов был упасть за-мертво следом от страха, но что его страх в сравнение с теми цепкими когтями, рвущими душу?

– Яков, – ответил тот отрицая собственную живость и подбегая к Грише, как к последнему существу во вселенной, как к последней иконе – Гриша! Гриша! Ты не представляешь, ты не представляешь!

Он показал кольцо, он показал кольцо и чужое лицо вмиг исказило поражение. Коньячные глазенки ничего не понима-

ли, пыльные глазенки напротив тоже не могли найти ответ.

– Яша, что же это за чушь? Как к тебе мог приходиться покойник? Как он мог дать тебе... вот это?

– Бога ради! Я не знаю! – это они молвили уже после решения Фрицевича срочно возвращаться домой. Он дочтет последние амини, он поймет. Он должен попасть домой, должен попасть домой и найти-найти этот чертов ответ! Чертов.

– Яша, нет! Верни тетрадку сразу. Это все гнев проклятой души, игра Сатаны.

Яша отрицательно мотал головой. Он понимал нутром, что вернуть ее будет лучше, но каким-то новым чувством, узнавшим страшную правду своего одиночества, не был способен. Владимир Солитудов, как же неверно было осуждать Вас. «Солитудо» с латыни одиночество? Один род у Вас с мальчишкой, что трясся в тарантасе. Род несчастных, потерянных существ. Может тоже к бесу обратиться?

– Федечка, почему Вы умерли? – он даже не нашел в себе сил его могилу найти. Почему такой человек умер? В нем всегда кипела жизнь, он никогда не смел разныться, никогда не делал себе поблажек? О, как много он работал! В нем кипела жизнь! И он и повесился? Это ложь, это ложь.

– Может от того и повесился, – зазвучал голос оставленного Григория Андреевича – Он ведь даже не отдыхал толком. Грезил о каком-то невообразимом будущем, играл в Бога! И играючи себя убил. Как царевич Дмитрий на ножечки пал.

– Замолчи, – шептал Яков проклятья утирая нос желтым

платком, от чего-то постепенно розовеющим.

Врач

Он воротился домой с диким воплем, засевающим где-то в груди. Весь мир стал другим. Он стал другим. Яков смотрел в мутные стекла зеркал, которые тут же решил завесить, словно в доме появился покойник. То приказ души, растерянной души, которая старалась написать письмо своим двум... кому-то. Ничего не выходило. Перо лезло из рук, на бумаге вместо русской буквы являлась страннейшая конструкция. Слова не лезли из горла, не лезли в голову. Все вокруг стало чем-то фоновым, непонятным. Яша заплакал, потом обозленно укусил шляпу.

Он выбежал из дома с диким воплем, засевающим где-то в груди. Весь мир стал другим. Он стал другим. Яков смотрел в мутные лужи, смотрел в завешенные окна и видел другого человека. Его белое лицо искажала мука, его черные пряди были осыпаны пылью. Спрятать. Спрятать. В руке кольцо, то что смог перевести, коварная тетрадка. Было чувство, что ее кто-то украдет. Такая ценность! Ближе, к сердцу, если оно еще есть.

Он бежал, он бежал и ловил взгляды теней в углах. Они смеялись над ним, смеялись смотря на поразительные сцены сменявшие друг друга! Яков падал, ронял родное и поднимал со снега дрожащими пальцами. Без пальто, в одной рубахе считай, что прикрывал камзол. Коль не может написать,

то сам прибежит! Плевать к кому, плевать какой сейчас день, но Биатусовы жили все же ближе, да и женушка Ионтия вину почувствовала пред лингвистом. Все еще. Будто ей было до него дело.

Его встретили ошеломленно. Служанка, Бог знает ее имя, в ужасе чуть не уронила поднос. В гостиную ввести попытались, но он заспротивлялся, крича: «Мне нужен Ионтий! Ионтий Евгеньевич, слышите?». Его бы и прогнали, барыня вступилась. Оглядела маленького несчастного идиота, который точно умрет от пневмонии. О, милый юноша сорока лет, у нашего мужа единственный выходной!

Его довели, справедливости ради, как животное, как льва. Боязливо, в ужасе и волнение. Но Якову было наплевать, он ворвался в кабинет, ворвался и поймал на себе черноту жуковых глаз. Ионтий не понимал, что к нему за черть явился? А черть этот кольцо показывает, да причитает.

– Видишь? А ты увидь! – кольцо бросается на стол, бросается с таким отчаянием, что напоминает пулю пистолета – Я нашел его. Я нашел его. Эту пакость знаешь кто меня принес? Знаешь? Знаешь?!

Знал ли сам Яша? Ему было уже все равно на их отношения с Ионом, все равно на их давнишние ссоры и желание доказать ему, что нет в нем более этой слабости. Он сел в кресло ставленное, да принялся хвататься за голову собственную. Ужас.

– Яша, господи, ты здоров? – беспокойство. Иону не хочет-

ся с этим всем разбираться. Ему привычнее видеть обиду в чужих глазах, а не безумнейший страх. Ему проще видеть разбитый в кровь нос, ожоги на чужих щеках, но никак не это непонятное страдание. И он мягко спрашивает, снисходительно, жалостливо, напугано:

– Кто тебе его дал?

– Он. Он, – кто он? Бог его знает, а Яша от того далек – Чернокудрый юноша, синеглазый, покойный. Я потерял сознание, очнулся и он сидит напротив, просит тетрадку вернуть. Он... Мертвый. Холодный, как лед. Мертвый.

– Яша, может это алкогольный дерелий? – поняв, что Яша до терминов медицинских далек – Белая горячка.

– А кольцо тогда откуда? Откуда кольцо?!

До чего же ласков с припадочным оказался Ионтий. Врач же, верно? Только по трупье он врачевательство использует. Руку на плечо положил, на колено встал.

– Покойнее, друг мой. Может в пьянстве, кто тебе его подкинул?

– А как оно в рот мне попало?

На это Ион пожал плечами. Мало ли что бывает?

– В любом случае колечко мы потом покажем...

– Не могу я его отдать! – шепнул лингвист, позабыв все языки разом – Вдруг он снова придет?

Безумие. Кошмар. Его упекут в желтый дом, будут поливать холодной водой вперемесь с горячей. Ему страшно.

– Яша! Ну, Бога ради! Проспись давай, кольцо потом тогда

отдашь, коль боязно. Но отдашь, понял? Нам это дело нужно всяк закрыть, иначе нас прихлопнут. Столько дел нераскрытых...

Этот треп он уже не слышал, он уходил. Уходил, да думал, что ничего у него в этом мире нет. Идея лишь одна была, идея.

Боже мой!

Ионтий Евгеньевич в тот вечер беспокойный, испорченный остался один. К семье своей вышел неохотно, весь в думе был тяжелой, да такой, что его лик впервые искажал ужас. Если этот дурак, Яков Фрицевич, посмеет противиться? Идиот! Мальчишка! Дуралей, дурак! Ион был в ужасе – он уже чувствовал выговор. Не себе – Павлу Петровичу. Лучше бы они однакашку какого Яшиного нашли. Он же весь народ дрянной филологический одинаковый – бедный и наивный. Ну кто предложил пойти к этому маленькому серому безумному немецкому сыну? Кто из них был таким дураком?

Биатусов не выдерживал, Биатусов злился. Злился и тому, что на следующие утро Павел Петрович изволил на него браниться. Что Вы за дурак? Куда его пустили? Что ты за дурак? Лучше бы себе на софу положил, на пол, хоть в хлев на солому! Вдруг этот безумец, а тот точно обезумел, сбежит куда-то с тетрадкой?

Застеснялся – Ионтий не знал, что сказать. Смутился, покраснел стыдливо. Давай так и сяк молить прощения у следователя неудачливого который в горло разом стопку опрокинул. Отпихнул цепкие пальцы товарища с плеча своего большого, дернул светлу бровь, да воскликнул прямо:

– Сейчас же мы двинемся к Якову. Отоспался уж! – потом уверенность вся слетела, раздался болезненный стон – Нас

губернатор убьет.

– Да не убьет, не убьет, – врал Ионтий, когда им двоим по сугробам брести приходилось – Коль что мы этого дурного за наше страдание в желтый дом упечем! Он же совсем не разумеет.

Давно пора! Давно пора, думалось. Но губернатор ведь, не смотря на все это убьет – черт с ним, сбегут в обнимочку. Они так и шли, ибо падали каждые полотора метра. Спешили! Под сапог забился снег, лик бил ветер и шла зимняя пляска вовсю. Раз в присядку, два в кружок. Месяц коварный, звезды насмешливые – чем не бал?

Кончился тот хаос белых платьев, замаячил домик на окраине серый. Вздохнули с каким счастьем Ионтий и Павел. Только чувство одно их всю дорогу ело – будто кто-то за ними наблюдает. Кто же то? Уж даже не смешно стало, захотелось тростью, дома позабытой, в лоб дать – а может это им в лоб дадут? Властен гляд чей-то, злобен.

Настежь дверь была открыта, у обедни разбита ваза, а цветы из нее, искусственные, красным цветом прямо на снегу крыльца лежали. Что же то за баловство? Что же тут произошло? Господи, какой кошмар.

Они видали и не такое, но почему-то сейчас резко оглупели. Начали глаза косить друг на друга, думать, как уйти скорее. Страхом, ужасом несло от этого дома.

– Словно кто-то умер, – Ион шумно вздохнул, вцепился в чужое запястье, ноздрями заходил – Сыростью пахнет.

Мертвечиной. Не разложение гнилью, а мертвечиной – мортом. Каблук тянет назад, Ионтий же страстно хочет вперед. Павел Петрович движим долгом. Тоже носом двигает, от руки чужой отбивается и предлагает разделиться. Какая глупость! Так все и мрут, так все и мрут. Ион, мы же сюда пришли не умирать. К тому же, будь тут кто уже рыльник показал бы, да-да. Или сбежал. И что сырость? Зима, снег – то дерево сыростью отдает.

То дерево под ногой скрипит, то дерево лестницы. Ион наверх взбегает, туда где горницы, туда где Яков Фрицевич потерял последний ум. Туда, где зеницы его сузились. Туда, где на полу разложены сотни бумаг и порваны сотни писем. Тетрадку судрожно искать принимается врач, руки дрожат впервые – только бы не пропала. И тень мелькает в зеркале пыльном, кидается туда канделябр без мысли всякой. Трескается. Ионтий выбегает к лестнице, в окно большое смотрит и вниз, к Павлу Петрович из сеней пропавшему, кричит:

– В окно глянь, в окно! – и смотрит Павел через дверь в сад мертвый, видит следов множество.

– В лес дуралей ушел с тетрадью?

– В лес! Боже правый, как ему то взбрело. Боже мой! Тетрадь же вся измокнет.

АМИНЬ

Яков тонул ногами в снегу, терялся в пустоте леса, в сапогах худых, глядел по сторонам с болью и страхом, с тетрадью в руке. Он вчитывался в строки, сознавая всю боль одиночества этой ночи. Он не смотрел назад, лишь бежал в седую пустоту. Он слышал голос над головой, вой, бьющийся прямо у тетради. Вой Солитудова, определенно его. Он молил, снова молил вернуть тетрадку, будто только что не разорвал весь дом несчастного шифровальщика, в слезах пытающегося убежать, убежать дальше от города имени Морта, от этих стен, от этой страшной виты, коя пожирала его всецело.

Яша закрывал уши, закрывал глаза, он слышал и другие крики, слышал, как его ищут, как пытаются вернуть, но он не мог вернуться. Он не могу вернуться.

– Вы могли бы хотя бы дочитать, могли бы хотя бы понять, почему нужно вернуть тетрадь в сыру землю, почему Вы совершаете страшную ошибку, – голос кипел, голос превращался в мороз на белой коже, темных усталостью и страхом глазах.

– Я не могу так, я не могу не попытаться, я не могу быть один, я не могу больше, пожалуйста, – ему казалось это правильным, он должен хотя бы попытаться – Я хочу это завершить, я верну кольцо это бесу в руку. Пусть больше никто этим не соблазнится. Одиночество оно неизбежно, мы все-

гда одни. Я не отдам тетрадь Вашу могиле, я отдам ее лишь бесам, тем, кому она должна принадлежать. Я лишу этот мир Вас, дабы больше не было ничего от этого кошмара.

– Когда я ее оживил, она ненавидела меня. Она смотрела на меня с таким ужасом и омерзением, она кричала мне столько слов, но немо, не имея право мне сказать ничего, ибо не давал ей того дьявол игривый, но даже так, даже так, она решила меня покинуть. Она кольцо найдя выпрыгнула в пустоту окна, разбив то вдрезг, а сердце мое пронзила боль, сердце мое улетело за ней. Я отправился на муки ада, но муки это его слуги, теперь я несу пост свой в ледяном дворце его, злым духом летая между миров.

– Одиночество неизлечимо, от него не спасет ни бес, ни дьявол, – пальто в руке рвалось на тонкие материи, создавалось в петлю, Яков смотрел сухо, холодно, идя в ад, лишь бы вернуть Сатане дары его.

– Вы жизнь свою отдаете за зря, обрекаете себя на страшнейшие мучения, верните тетрадку, – будто от этой тетрадки что-то так коренно менялось, будто от того, что у скелета его будет эту бумага портвейная, что-то сложится иначе

Не слыша ничего, кроме своей идеи, кроме своего желания закончить этот цикл, Яков удавку на шею примерим, затянул ту, падая в снег, тяня сильнее, рассчитав длину так же, как и этот шифр, и тетрадь шла с ним, с кровью на прокушенных губах, с агонией через скорые минуты. Он летел в глубины земной коры, к бесу и прочей твари, вытягивая им

мерзость свою, а Люцифер, на троне своем, среди множеств подчиненных, выразался:

– Как смела порода человека стала, свою жизнь отдавать ни за что, лишь бы спасти других от греха страшного, от рецептуры, как излечить горе свое, вместо своего же счастья. Какой же человек по природе раб, что только будучи рабом может обладать счастьем, а как дают ему свободу, то он от нее истерично вертит нос. У раба не может быть никого кроме своего хозяина, а потому у человека есть только Господь.

Конец.